

Набираю номер. Два гудка, три, пять. «Надю! Привет!» – тяжело дышит, бжеала. Голос дрожит, теперь для нее это норма. «Привет, – говорю. – Как дела?» И, помолчав, будто пытаюсь разлепить внезапно слипшиеся губы, добавляю: «Мама».

* * *

Мы жили в маленьком бревенчатом домике на окраине маленького городка. Снаружи домик был обшит тоненькими резными досочками и покрашен эмалью в оранжевый цвет. Домик глядел на мир рядами мелких окошек – по три на каждой стене, кроме одной слепой, что выходила в темный палисадник. Окошки были украшены голубыми ставнями, таким же голубым был фронтон – треугольник под крытой шифером двускатной крышей.

Внутри бревенчатый сруб был кое-как поделен перегородками на три комнаты: две маленькие спальни, в которые вмещалось лишь по одной двупальной кровати, и просторный «зал». Двери в спальни были всегда открыты и заставлены мебелью. Почему-то бабушка считала дурным тоном их закрывать, и годами ей никто не смел перечить. Жизнь всех обитателей оранжевого домика была всегда нараспашку.

В таком нехитро организованном пространстве и прожили большую часть жизни мои бабушка и дед, в нем родились и выросли мои мама и тетка, в нем умерла моя прабабка. Это уже потом к дому пристроили просторную кухню, треть которой занимала беленая печь-голландка. Таким, подновленным и принаряженным, дом встретил меня, шестимесячную, на руках у мамы, вернувшейся в родительский дом после короткого неудачного замужества.

Шел девяносто первый год. Ничего не говорили в нашем околотке ни о «параде суверенитетов», ни о новом союзном договоре, ни об августовском путче. Дед выпивал и гонял по округе новенький красный «москвич», бабушка выкармливала сотню кроликов на мясо, чтобы за этот «москвич» расплатиться. Мама сидела со мной и вполсилы искала работу.

Вообще-то по специальности она технолог молочной промышленности. Но на молочном заводе, для которого техникум, собственно, и готовил рабочие руки, уже начались сокращения. Пару лет спустя зарплату оставшимся работникам стали выдавать банками с сухим молоком. А куда их девать, если в сарае стоит своя корова, а полки в двух одновременно работающих холодильниках уставлены трехлитровыми банками свежего молока, литровы-

ми – жирных сепарированных сливок и эмалированных тазиками домашнего творoga?

Когда мне исполнилось два года и меня взяли в детский сад, мама устроилась работать почтальоном на телеграф. Она очень гордилась, что носит не тяжелые сумки с газетами, а маленькую борсетку с телеграммами. И что дают ей на работе «живые деньги», а не талоны и не продукцию предприятия по бартеру. Когда в девяносто седьмом году я пошла в школу, мама говорила, что только благодаря ее работе я иду на линейку в новом сарафане, новой блузке и новых туфлях. Другие, мол, наверняка придут в чужих обносках. Мама тогда получала две тысячи рублей в месяц.

Я сравнивала маму с другими почтальоншами, и сравнение было всегда в ее пользу. Вот, например, приносившая нам газету «Путь Октября» тетя Нина носила очки в толстой роговой оправе, а у маминых оправа была тоненькая, металлическая. А еще как-то тетя Нина рассказала, что накануне у ее сына Сережки – длинного тощего парня года на два постарше меня – был день рождения. Он просил торт и лимонад. «Печенья “Мария” купила, чаю попили, да и хватит с нас», – рассказывала она. На мой день рождения мама всегда пекла «Наполеон» с вкусным жирным кремом на сливочном масле.

Отчетливо я помню маму со своих пяти лет. Ей тогда было тридцать (как мне сейчас), а бабушке – пятьдесят семь (почти столько же, сколько сейчас маме). Мама всегда носила брюки или шорты, ездила на работу на велосипеде, красила только губы, выщипывала брови «вничточку», редко и будто нехотя брила ноги (бабушка видела это и кричала: «Зачем ты опять их побрила? Волосы будут, как щетина у свиньи!»), считала, что арбуз можно есть только с хлебом («иначе не наешься»), вела со мной длинные разговоры о жизни и мечтала жить отдельно от бабушки.

Примерно тогда же мама начала строить планы о том, что она сделает, когда получит родительское наследство. Дед умер в девяносто четвертом от рака легких. Единственное, что я о нем помню, – это как он сидел на кухне у голландки и сворачивал «козью ножку», прикуривая ее от щепки. Видимо, его смерть убедила маму в том, что и бабушке недолго осталось. Самые задушевные мамини разговоры со мной всегда начинались со слов: «Вот когда умрет бабушка...» Она смотрела мне в глаза и строила планы, как хорошо мы с ней будем жить. А мне в такие моменты всегда хотелось прибежать к бабушке, прижаться к ее теплому боку, обнять и шептать: «Не умирай, не умирай, не умирай...»

Иногда с зарплаты мама тратилась на какую-нибудь симпатичную вещицу – например, на трехлитровую керамическую супницу с розами на толстом боку и ручкой-капелькой на крышке, заворачивала ее в старую тряпку и поднимала на чердак – «на потом».

Мама всю взрослую жизнь собирала себе «приданое». Она покупала впрок тарелки, чашки, ложки, кастрюли, табуретки, простыни и скатерти. Все это хранилось на чердаке нашего – на самом деле, конечно, бабушкиного – дома. Иногда с зарплаты мама тратилась на какую-нибудь симпатичную вещицу – например, на трехлитровую керамическую супницу с розами на толстом боку и ручкой-капелькой на крышке, заворачивала ее в старую тряпку и поднимала на чердак – «на потом». «Потом» или «со временем» – так стало называться светлое будущее, в которое верила мама. Будущее это значило только одно: «Когда умрет бабушка».

Я любила забираться на чердак и перебирать мамини вещи. Они все были новые. Нержавеющие ложки-блестели, лежа в своих бархатистых коробках-гробиках, красные кастрюли в белый горох поражали чистотой и первозданной нетронутостью эмали. Мелкие чайные чашки – тоже красные, расписанные ромашками по бокам, – так и просили налить в них травяного чая. Вывязанные крючком салфетки ставили в ступор: зачем их так много? Обшитые вельветом табуретки будто приглашали присесть. Мне очень хотелось взять все это богатство и спустить в дом. Но стоило мне заикнуться об этом маме, как она приходила в ярость. «Ты с голой жопой хочешь меня оставить? Что я буду делать потом?»

В детстве это «потом» я просто ненавидела. Я и теперь его боюсь. Сейчас маме пятьдесят пять, а бабушке – восемьдесят два. Они носят одинаковую одежду и пользуются одними очками, одним мобильным телефоном и одними зимними валенками на двоих. Бабушка с трудом принимает в подарок одежду, потому что «все равно сдыхать скоро, лучше себе чего-нибудь купи». Мама подарила мне на свадьбу большую часть своего «приданого», а остальное так и побилось и погнило на чердаке за двадцать пять прошедших лет.

Я живу теперь далеко, и общаемся мы с мамой мало, в основном обмениваясь дежурными сообщениями о делах и здоровье. Но иногда мама звонит мне посоветоваться, что же ей делать «потом». Забившись в дальний угол своей темной спальни без окон и со старой шалью вместо двери, подальше от бабушки, она полным горечи шепотом рассказывает мне, что половины стоимости дома не хватит на квартиру (вторая половина полагается моей тетке, маминой родной сестре), и она не знает, как ей быть. Мне хочется завывать в голос и послать ее к черту, но вместо этого я говорю: «Успокойся, пожалуйста. У тебя все будет». Язык не поворачивается сказать «мама».

* * *

У меня не укладывается в голове: еще недавно мне было столько же лет, сколько моему сыну Гоше сейчас. И мир вокруг меня был примерно такой же, как тот, в котором живет он. Мало что изменилось за двадцать три года, что нас разделяют. Вот мы с ним идем из детского сада, как мы с мамой шли двадцать три года назад. Вот он по дороге постоянно останавливается, отвлекаясь на что-то, а я его торможу, торопясь. «Мама, смотри я прочитал: «Сы-ры»! У меня получилось «сы-ры»!» – кричит он мне, остановившись, как вкопанный, у витрины магазина. «Бабушка, я поняла, как плести косичку», – закричала я однажды двадцать три года назад, присела на корточки прямо посреди улицы и стала заплетать волосы кукле Барби, зажав ее между колен.

В пятницу по телевизору, по первому каналу, всегда шло «Поле чудес». Вечером после садика я смотрела его вместе с бабушкой. Она уже тогда вздыхала, как надоел ей этот Якубович. Вчера (была как раз пятница), заходя с Гошей в подъезд, я увидела все те же седые усы на маленьком выпуклом экране в камерке консьержки. «Аавтомобиль!» – как и двадцать три года назад, прокричал

Хлеб в моих руках пах так вкусно, будто специально просился в рот. Я не удержалась и откусила уголок, там, где сходятся три хрустящие корочки – самое сладкое место у буханки. Я помню, мне было стыдно и вкусно одновременно.

с домашним повидлом, то булку-«ромашку» с карамельками внутри, то песочные «треугольники» с картошкой и салом. Так что на магазинную выпечку деньги она предпочитала не тратить. А хлеба покупала всегда две буханки, две булки, как говорили в нашей семье. Одной на день нам не хватало.

Хлеб тогда продавали без всякой упаковки. Продащица в синем синтетическом фартуке на пышной груди брала буханку голыми руками с деревянного, в занозах, поддона и через прилавок подталкивала ее к покупателю. Хлеб крошился и оттого пах еще сильнее. Оставшиеся на прилавке крошки продащица рукой смахивала себе под ноги, и мне всегда было их немного жаль. Мне хотелось намочить палец слюной и собрать все эти крошки по одной, а потом отправить палец в рот, перемолоть крошки передними зубами. Я и теперь так делаю, когда режу хлеб дома. Но такого хлеба, как пекли на «ПиМеКо», я до сих пор найти не смогла. Ни одни крошки так на зубах больше не хрустят.

Мама брала с прилавка буханки и ставила их вертикально в тряпичную сумку, которую специально для походов в магазин шила из старого покрывала. Ни о какой экологии она, конечно, не заботилась. Просто белые полиэтиленовые пакеты с изображением женщины в шляпе, которую некоторые наши знакомые почему-то называли Мадонной, стоили три рубля. Хлеб стоил тринадцать. Мама сэкономила. Сумку она ставила на багажник между моих ног. Хлеб идеально помещался между багажником и маминим сиденьем. Я должна была его придер-

живать одной рукой, а другой – держаться сама. Так мы доезжали до дома минут за пять.

Однажды случилась такая история. Мама все на той же «Каме» забирала меня из детского сада. Дорога вела мимо хлебокомбината. В магазин мы не заходили, но встретили мамину знакомую, выходящую из его дверей. Мама остановилась и пошла рядом с ней пешком, ведя велосипед двумя руками за руль. Мне отдали буханку хлеба, который мамина знакомая купила и теперь неудобно несла в руках. Хлеб был в тоненьком мешочке, и один его бок выглядывал наружу. Мне казалось, что ехали мы очень медленно, а я была голодна. Хлеб в моих руках пах так вкусно, будто специально просился в рот. Я не удержалась и откусила уголок, там, где сходятся три хрустящие корочки – самое сладкое место у буханки. Я помню, мне было стыдно и вкусно одновременно. Никто на меня не смотрел, так что мое преступление оставалось до поры нераскрытым. Когда мама с подругой дошли до угла и стали прощаться, я уже обгрызла весь торец буханки и лениво выщипывала мякиш. Наелась.

Я была готова к тому, что мама будет ругаться. Мне и раньше перепадали тычки и подзатыльники, так что я заранее приготовилась и вжала голову в плечи. Но то ли настроение у мамы не в пример обычному было хорошим, то ли она постеснялась скандалить при подруге, только кончилось все тем, что мама засмеялась и, слегка толкнув подружку локтем в бок, сказала: «Смотри, девка-то будто с голодного края приехала!» Та улыбнулась и подмигнула мне. Хлеб мы оставили себе. Не знаю, вернула ли мама подруге этот неловкий долг. Двадцать пять лет прошло, а я до сих пор помню и сладковатый привкус того хлеба, и жгущее щеки чувство стыда, и полную неспособность остановиться.

* * *

Стряпней в нашем доме занималась бабушка. Она пекла большие пироги с тушеной капустой или с рубленой картошкой, жарила в пенистом масле беляши с мясом и пирожки с калиной в сахаре – на сладкое. И лапшу для супа она всегда готовила сама. Приносила лист ДСП из чулана, весь в приставших ошметках бывшего теста. Соскребала их ножом: звук царапал нервы хуже, чем застрявший в дешевом школьном меле камушек по доске, но я терпела. Знала, что потом будет вкусно.

Бабушка насыпала на доску горку муки. Муку тогда покупали в плетеных из тонкой полиэтиленовой ленты пятидесятикилограммовых мешках, так

выходило дешевле. Скопив денег с продажи домашних кур, бабушка покупала на зиму два таких мешка муки: один высшего сорта, подороже, другой – первого, подешевле. Ста килограммов муки нашей семье из трех основных членов (бабушки, мамы и меня) и трех приходящих (тетки, ее мужа и сына) вприпрыжку хватало на три зимних месяца. Тридцать три килограмма в месяц, кило триста в день. Последний купленный мной бумажный пакет «Макфы» (масса нетто – 1000 грамм) стоит у меня в кухонном шкафу уже несколько месяцев. Неоткрытый.

Так вот, бабушка насыпала на доску горку муки, собирала пальцы в горстку – они уже тогда у нее были покрыты артрозными шишками и оттого казались заостренными на концах, будто специально вылепленными для пробуривания всяческих отверстий, – и превращала горку в котлован, куда заливала прямо из чайника кипяченую воду и разбивала два кривеньких домашних яйца, в которых часто бывало по два желтка.

Она замешивала тесто, тугое и упругое, как тело свежей селедки. Дырка от пальца на этом тесте исчезала с такой же быстротой, что и на рыбе. Бабушка делила сырой батон теста на три части, две из которых, хорошо вываляв в муке, отодвигала в сторону, а третью раскатывала по доске тонким пластом. Скалка у нее была старая, потрескавшаяся, и в трещинах забивались один за другим палеонтологические слои теста. Эта скалка казалась мне в детстве волшебной палочкой, способной обратить камни в хлебы. Остальные предметы кухонной утвари не пахли ничем, скалка волшебным образом пахла молоком и ванилином.

В это время на старой газовой плите, над синим-красным цветком газа, кипел густой куриный бульон. Бабушка им всегда очень гордилась: ее курицы были такими жирными, что на бульоне всегда плавала желтая лужица расплавленного нутряного сала чуть не в палец толщиной. В девяностые это было символом достатка. «Не то что эти ваши синие американские окорочка с базара», – приговаривала бабушка, помешивая бульон половником из нержавеющей стали, подаренным ей кем-то из родни еще на свадьбу.

Мой двоюродный брат Женька как-то за столом обиделся на мать, вечно его одергивавшую, и неловко отвернулся от нее. Табуретка под ним была низкой, да и сам он тогда, что называется, пешком под стол ходил. Его лицо лишь слегка возвышалось над тарелкой. Отворачиваясь от матери, он угодил правым ухом в тарелку с бульоном. Ужаленный расплавленным жиром, он выскочил из-за стола и за-

ревел, а все почему-то принялись хохотать. С тех пор вот уже больше двадцати лет история об ухе в лапше пересказывается из уст в уста, год от года обрастая новыми подробностями.

Но вернемся к лапше. Бабушка раскатывала тонкий пласт теста и разрезала его на широкие и длинные полоски. Получались чуть ли не метровые ленты из теста, которые первыми шли в бульон. Минут через пять-шесть бабушка вынимала их и раскладывала по тарелкам. В это время трое за ее спиной – я, Женька и моя мама – ревностно следили, чтобы всем досталось поровну. Мы расхватывали тарелки и разбегались по разным углам. Сидеть всем вместе за столом без особого повода у нас в семье как-то было не принято.

Жевать лапшу с капельками жира на сероватой коже надо было быстро, пока горячая. Она пахла лавровым листом и куриным мясом, упруго жевалась и на вкус была лучше всего на свете. Но стоило ей остыть, как она превращалась просто в сваренную полоску обычного теста, которой ни глаз, ни рот не радуется.

Когда червячок первого голода был заморен, бабушка принималась за приготовление основного блюда – супа. Остатки теста она уже мелко резала и бросала в бульон вместе с картошкой. Мясо курицы всегда доставали и подавали отдельно, а не разрывали на кусочки и не клали в каждую тарелку, как это делают в иных семьях или столовых. Собственно, суп ела одна бабушка, нам он был неинтересен. А куриное мясо в ничем не накрытой тарелке заветривалось в холодильнике, и его на следующий день отдавали собакам. «Люди такого сроду не видят, а вы зажрались», – говорила, вынося тарелку на улицу, бабушка. Остатки супа обычно ожидала та же участь.

* * *

Всю жизнь мама старалась как-то обособиться от бабушки, занять что-то свое. Очевидно, что с зарплатой почтальона накопить на собственную квартиру она бы не смогла; обменивать дом на две «однушки» не соглашалась бабушка. Она называла многоквартирные дома «казенными» и считала живущих в них людей находящимися существенно ниже ее самой на социальной лестнице. «С голоду хочешь подохнуть в казенном доме?» – коротко бросала она, когда мама, срываясь на фальцет, кричала в ссоре, что надо разъезжаться. Так и жили.

Но однажды мама накопила четыре тысячи рублей и купила дачный участок с маленьким кирпичным

домиком на нем, или огород, как попросту называли его в нашей семье. Это были четыре сотки рыжеватой земли, обнесенные забором. Домик не был жилым, и мама не собиралась его обживать хотя бы на лето. «Еще чего, бомжей и наркоманов привечать. Двери выломают, нагадят, картошку истопчут», – говорила она. Поэтому дверь домика демонстративно закрывалась только на вбитый в косяк и согнутый пополам гвоздь. Внутри не было ничего, кроме непокрытой кровати с панцирной сеткой, двух лопат и одних граблей. Заходили мы туда редко, только чтобы переодеться или попить воды (которую тоже, разумеется, всякий раз привозили с собой).

Зато на чердаке домика кипела настоящая жизнь. В наследство от предыдущих хозяев нам досталась большая и не очень дружная осиная семья – три гнезда, будто три свисающих вниз кочана молодой капусты разного размера, в каждом из которых копошились мерзкие и злобные насекомые размером с фалангу пальца. Боялись мы их страшно и воевали с ними долго, пока кто-то из знакомых мужиков не присоветовал маме обмотать каждое гнездо щедро смоченной бензином тряпкой и поджечь. Так и сделали. Тряпки мигом вспыхнули, осы полетели в разные стороны, мама кубарем скатилась с лестницы и убежала в самый дальний угол огорода, на ходу отмахиваясь от разъяренных насекомых. Гнезда быстро погорели, но огонь перекинулся на чердак, и мы с мамой бросились в четыре руки его тушить. Я таскала ведра с водой из бочки для полива и подавала стоящей на лестнице маме, а она почти не глядя выливала их в чердачную дверцу. «И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Мне кажется, после той расправы даже залетные осы облетали наш участок стороной.

Большая часть огорода была отведена под картошку. Сажать ее было тяжело. После того как однажды мама с бабушкой поссорились прямо на картофельном поле и бабушка зареклась ходить к маме в огород, нам приходилось справляться вдвоем. И если бабушкин огород перед посадкой основательно вспахивал мотоплугом теткин муж, то нам с мамой приходилось ворочать глыбы влажной с весны земли вручную и только потом бросать в неровные ямки проросшие картофелины. Обычно все майские праздники мы с мамой проводили за этим занятием. Картошка потом всходила, цвела и увядала волнами, так что всегда можно было довольно точно определить, какую часть мы посадили неделей раньше, а какую – неделей позже.

Еще у нас в огороде была старая яблоня, которая раз в два года давала такой урожай мелких и медово-сладких яблочек, что девать их было некуда. Мама даже раздобыла где-то соковыжималку и делала из яблочек сок, закатывая его в пузатые трехлитровые банки. Но яблоки все не кончались, все сыпались с дерева, устилая мягкую травку ровным хрустящим желтым слоем. Они гнили и пахли брагой и счастьем. На следующий год яблоня, будто в отместку за нерачительность, не давала нам ни одного, даже самого маленького и кислого яблочка.

Было на огороде и два деревца черешни, которой мама ужасно гордилась, и одна желтая слива, и по паре кустов смородины и крыжовника, и густые заросли сортовой малины вдоль забора. Малину надо было собирать дважды в неделю. Мы надевали старые, пыльные «олимпийки» (наверное, еще дедовы) и штаны похуже, а потом забирались в густые колючие заросли. Мама шла впереди, вычищая малинник от крапивы, которая росла как на дрожжах, а следом я собирала спелые красные ягоды в красное пятилитровое ведро, купленное специально под малину. Ведро то не раз становилось поводом для мелких стычек мамы с бабушкой, которая норовила в нем то картошку помыть, то курам комбикорма намешать.

Теткин муж, когда мне случалось ездить с ним и моим двоюродным братом Женькой куда-нибудь за ягодами, настаивал, чтобы мы пели в голос, собирая. Так, мол, мы меньше ягод съедим и больше домой доведем, на варенье. Мама такого не требовала никогда. Она, наоборот, говорила, чтобы я сразу ела досыта, потому что была уверена: дома мне ничего вкусного не доставалось. Мол, бабушка отдавала всякую лишнюю клубничину или конфету Женьке, любимому внуку любимой, младшей, дочери. Конечно, это было не так, но я маме не перечила.

Я не любила огород. В основном за то, что там приходилось работать. Не переживать, скучая, пока мама закончит, а в полную силу помогать ей: полоть, поливать, сажать и собирать. С тех самых, «огородных», времен у меня повреждено запястье левой руки. Мне было лет двенадцать. Тем летом у нас как-то разом сломались оба велосипеда, починить их было некому, поэтому мы ходили в огород пешком. Однажды в августе (ненавижу этот месяц) мы с мамой зачем-то тащили домой по ведру свежескопанной картошки. Где-то на полпути до дома мое левое запястье как-то щелкнуло и резко заболело. Я тогда просто перехватила ведро правой, более сильной рукой, и молча пошла дальше. Мне почти тридцать. Запястье болит до сих пор.

Раз в год, всегда зимой, Малинка приносила потомство – рыжих, как на подбор, телят, с трудом стоявших на тоненьких ножках. Бабушка всякий раз сама принимала у коровы роды, а потом, отпоив новорожденного теленка молозивом, заносила его в дом. Она специально отгораживала на кухне для него угол (отодвигала от стены старый шкаф и застилала пол соломой). Теленок жил с нами под одной крышей по несколько недель, пока не окрепнет. По утрам мы просыпались от его протяжного голодного рева. Бабушка бежала доить Малинку и поить теленка парным молоком. А когда он чуть-чуть подрастал, бабушка выселяла его в сарай, предварительно укутав в мою старую шубку и подвязав под пузо цветастым платком.

Всех телят, как правило, ждала одна и та же участь – стать говядиной. Но их никогда не резали у нас во дворе, как свиней: бабушка была категорически против. Она так любила Малинку, что не могла и подумать, чтобы собственноручно лишить жизни кого-то из ее детей. Поэтому молодых телок и бычков всегда задешево продавали перекупам, с глаз долой – из сердца вон.

Малинка прожила в нашей семье лет семнадцать – очень солидный возраст для коровы. Наверное, прожила бы еще, но бабушка заболела раком и больше не могла с ней справляться. Она продала корову кому-то в соседнюю деревню. Новый хозяин как-то слишком быстро гнал ее по выщербленному асфальту. Малинка запнулась и упала. Говорят, ее зарезали там же, на полпути от старого дома к новому. Когда бабушка узнала это, она слегла надолго.

* * *

У мамы было красное пальто модного в 90-е кроя: широкие плечи на толстых подплечниках, длина чуть выше колена. Пальто досталось ей в подарок от тетки, большой модницы. Обычно теткин подарки мама презрительно осматривала и молча складывала в шкаф: «интеллигентские» вещи с «барского плеча» она носить не желала. А это пальто ей чем-то приглянулось. Как сейчас вижу ее в нем, в высоких черных кожаных сапогах, с маленькой черной сумочкой в руках. Конец марта. Размашистой походкой Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа» мама идет, и сумочка в ее руке на каждый второй шаг отлетает далеко в сторону.

Мама не ходила в этом пальто на работу, она носила его только на свидания. Естественно, мне этого знать не полагалось, поэтому мама изворачивалась и врала. Работа на телеграфе у нее была

посменной, то с утра, то с трех часов дня, так что всякий раз, уходя из дома вечером, она прикрывалась «производственной необходимостью». Но обвести меня вокруг пальца было не так-то просто.

- Mam, ты отработала? – спрашивала я, когда мама возвращалась домой со смены.
- Отработала, – говорила она и валилась на кровать.

Чуть отдохнув, она красила губы перед старым трюмо и надевала пальто.

- Mam, ты куда?
- На работу.
- Но ты же сказала, что отработала.
- Не лезь. Подрастешь – узнаешь.

Когда мамы не было, я ужасно скучала. Особенно тяжело было засыпать без нее. Мы спали вместе в маминной комнате, на разложенном диване-«книжке», стоявшем на подпорках из кирпичей. В девять-десять вечера я привидением слонялась по дому, выглядывала в окна, за которыми уже зажглись редкие на нашей улице фонари, спрашивала бабушку, где мама.

- Волки срать уехали, – зло бросала она и уходила в кухню греметь посудой.

Тогда я брала мамин халат, фланелевый, в мелкий невзрачный цветочек, утыкалась в него носом и засыпала. Мама приходила ночью и тихо ложилась рядом. Иногда сквозь сон я чувствовала, как она дрожит под одеялом.

Однажды летом в свой выходной мама велела мне одеваться. Сказала, мы пойдем в гости. Она привела меня в дом на улице Пушкина. Дом был большой, не в пример нашему, но недостроенный и оттого неуютный. Более или менее жилой была только кухня. Но и она была грязной, заваленной каким-то тряпьем и посудой с пристывшими остатками еды. Помню, как странно выглядела в этой обстановке мама, старательно намывавшая эту посуду в синем эмалированном тазу.

Строил дом и жил в нем дядя Вова. Он был каким-то невзрачным и неухоженным: встретил нас с мамой без рубашки, живот у него был впалым, а курчавые волосы на груди – седыми. Не помню, чтобы он сказал мне хоть что-то в качестве приветствия. В тот день я впервые остро и больно почувствовала себя невидимой.

Домой мы шли с мамой за руку. Я уже успела отвыкнуть от такой ласки и млела. Мне даже захотелось запеть: «Но ты человек, ты сильный и смелый! Своими руками судьбу свою делай!» Но мама остановилась, притянула меня к себе поближе и опустилась на корточки.

его поверхностей, молотком подогнала рассохшиеся пазы ящиков, покрасила фасады морилкой цвета «красное дерево» в три слоя, прикрутила новые металлические ручки к ящикам, резные и красивые на вид, приятно-прохладные на ощупь. А как закончила – стала чуть не каждый день приводить в гости подруг (и откуда у нее их столько взялось?), хвасталась комодом, принимала комплименты.

Несмотря на мамины старания, я долго не могла заставить себя называть квартиру «домом». Когда подружки спрашивали, куда я пойду после школы, я так и говорила – «в квартиру». Домом для меня оставался оранжевый бабушкин домик с двумя безрезками у ворот.

Мама же старалась с бабушкой совсем не общаться и злилась, когда я ходила ее навещать. А меня так и тянуло домой – к знакомым запахам, к пыльным книгам на антресолях, к бабушке, которая, несмотря на внешнюю грубость и скупость на слова, всегда понимала меня лучше мамы.

Как-то зимой я поссорилась с мамой и ушла ночевать к бабушке. Я спала в нашей старой спальне (пять квадратных метров, вмещался только разложенный на подпорках из кирпичей диван и настенная вешалка с оленьими рогами). Постельного белья, подушек и одеяла не было – мама все забрала в квартиру. Искать по шкафам у бабушки не было сил и не хотелось. Поэтому я легла не раздеваясь, укрывшись своей страшенькой искусственной дубленкой, которую года за два до того страшно довольная притащила мне с рынка мама. Я не спала даже, а вдыхала запахи нашей спальни, запахи прошлой жизни, там и тогда казавшейся мне счастливой.

Но мамина «своя жизнь» кончилась довольно быстро. Года через полтора она вдруг поняла, что жизнь на съемном жилье нисколько не приближает ее к обладанию своим собственным, а ей хотелось этого больше всего на свете. Она сказала, что устала «платить дяде», снова погрузила в «газель» кухонный гарнитур, диван-книжку и комод и повезла все обратно к бабушке.

Та встретила нас равнодушным молчанием. Пока мы таскали в дом сумки с вещами, она собирала колорадских жуков с кустов картошки. Маленьких, розовых и противно-мягких, бросала в ведро с бензином на дне, а взрослых тут же давила между пальцами.

Я не знала, рада ли я вернуться домой. Спальню, в которой я еще совсем недавно засыпала в одиночестве, укрывшись дубленкой и мечтая, чтобы все стало по-прежнему, заняла мама. Казалось, она со-

всем перестала оттуда выходить: она там и спала, и ела, и просто сидела, уставившись в какую-то, одной ей ведомую точку на пожелтевших обоях. Правда, первые несколько месяцев после возвращения она еще ходила на свою почтальонскую работу. Выскальзывала из спальни утром, чуть отодвинув шалевую занавеску, проскальзывала под нее вечером. Мы почти не разговаривали.

А однажды мама на работу не пошла. «Мама, у тебя выходной?» – спросила я. «Нет, я уволилась. Я больше не могу», – ответила она и отвернулась к стенке. Так она пролежала два месяца, питаясь одним хлебом. Примерно раз в два или три дня она молча выходила из спальни, брала буханку «серого» из хлебницы и так же молча уносила ее обратно. Ни я, ни бабушка уже ничего не говорили. Мы отскандалили и отплакали, и сил не было, и мы не знали, что будет. Через два месяца бабушка с милицией отправила истощенную маму на скорой в психиатрическую больницу. Меня рядом уже не было: у меня началась «своя жизнь».

* * *

Мне тридцать, почти тридцать один. Мне столько же лет, сколько маме, какой я ее помню. Она раз в месяц делает стрижку «каре на ножке», каждый день носит одну из трех пар «висячих» серег из мельхиора, про которые думает, что они удлиняют ее шею, и красит губы розовой помадой, которая в тюбике почему-то зеленая.

Моему сыну столько же лет, сколько мне в моих первых детских воспоминаниях. Я нашла в маминем новом фотоальбоме две фотографии, сделанные чужой рукой и вырвавшие кусок моего детства. На обеих в кадре мы с мамой. На одной собираем чей-то пазл (у меня никогда не было своих пазлов, и поэтому я не умела их собирать), на другой просто сидим на чьем-то диване, покрытом цветастым ковром. На обеих я не улыбаюсь.

«Мама, почему ты не улыбаешься? Тебе не нравится фотографироваться с твоей мамой?» – спрашивает меня семилетний Гоша.

Что сказать? Я не улыбаюсь, потому что не счастлива. Потому что чувствую себя маленькой и зависимой, страдаю, что мне нельзя ничего, что можно другим (пазлов, пышного платья на утренник, чипсов Pringles или чтобы на меня не орали). Потому что хочу скорее вырасти и показать всем, на что я способна («Вот ты вырастешь и схватишь руку матери, когда она тебя бить начнет, и скажешь, все мол, хватит», – успокаивала меня бабушка после

очередного маминого «наказания»: угла и подзатыльников).

Я смотрю на фотографии и оплакиваю эту маленькую девочку, которая до сих пор сидит, насупившись, где-то внутри меня. Я оплакиваю эту молодую красивую женщину, которая так мечтала отъединиться от своей матери и не смогла, для которой такое желанное *потом* не наступило и уже никогда не наступит.

Тот, кто знал мою маму в молодости, вряд ли узнал бы ее в этой женщине: дешевый зеленый халат на молнии, руки в карманах (трясутся, стыдно показывать людям), короткая стрижка седых, чуть тронутых рыжеватой краской волос, разные брови и мешки под глазами.

Она не спит ночами, не может уснуть. Вместо этого она идет в комнату бабушки, где та свернулась калачиком под старым одеялом из ватина, и ложится с ней рядом.

«Почему ты не ложишься спать?» – спрашиваю ее.

«Сейчас, мы полежим с бабушкой, и я пойду», – отвечает.

«Мы всегда так лежим».

Мамочки.

* * *

Седые волосы дергать тоже больно. Стою перед зеркалом, перебираю пальцами прядь. Стараюсь vybrать эти, чужие, невзлюбленные как оказавшиеся в моих темно-русых волнах тонкие белые ниточки. Дерну раз – мелкий вдох на с-с-с – и близоруко несую пальцы к глазам. И больно, и не тот. Дерну другой, на этот раз тот самый, а все равно больно. Удивительно. Раньше я не задумывалась, что мне придется почувствовать это самой.

...Мне лет пять, и мама села на диван, а я забиралась рядом, вставала на колени и начинала копаться у нее в волосах. Кажется, ей нравилось. Она просила меня подергать ей седые волосы. Я шарилась пальчиками у нее по голове с вдохновением, то и дело отыскивая и вырывая добычу. Мама только слегка присвистывала сквозь зубы и спрашивала: седой? Я всегда говорила, что да, и незаметно роняла волос на пол. Седым он был далеко не всегда, но мамина реакция всякий раз была одна и та же.

Прошло совсем немного времени, и мама запретила мне выискивать у нее седину и уничтожать: ее стало слишком много. Тогда в нашем доме появилась миска для разведения краски и специальная кисточка, а я освоила азы техники окрашивания волос.

Краска была самая дешевая, естественно. В картонной коробке – алюминиевый тюбик с кремом, прозрачный пластиковый флакон с окислителем, бальзам в одноразовом пакетике и пара тонких полиэтиленовых перчаток, в каждую из которых поместились бы по две моих руки. Краска в тюбике всегда была белой, вне зависимости от цвета волос модели на коробке. Окислитель пах аммиаком – если поднести поближе к носу, шибало не хуже нашатырки. В тарелке запах становился мягче: сначала знакомо начинало пахнуть подъездом тет-кинкой девятиэтажки, где я любила бывать, потом, смешиваясь с краской, он превращался в один из маминых: запах ее волос сразу после окрашивания, который я до сих пор ни с чем не спутаю.

Я наносила порозовевшую на воздухе массу крупными мазками на мамину голову, а она командовала, не глядя в зеркало: «Промажь виски. Не забудь прокрасить лоб». И виски, и лоб были покрашены так, что никаким самогоном кожу потом было не отте-реть, мы проверяли.

Прошли годы. Теперь, раз в году приезжая домой, вздохнув и мысленно выругавшись на вконец запустившую себя мать, я беру все ту же кисть, развожу в той же миске все ту же краску – другой мама не признает – и повторяю все ту же нехитрую последовательность действий: разобрать волосы на пробор, промазать этот поредевший стриженный ковер из грязно-белых нитей, сделать шаг на сантиметр в сторону и повторить, пока не дойдешь сначала до одного виска, потом – до другого. И не забыть прокрасить лоб. Мама больше не командует. Она сидит, уставившись ввалившимися глазами в одну точку перед собой, и покорно ждет, когда же это кончится.

* * *

Мы жили на южной окраине городка, хотя и не маленького по российским меркам – шестьдесят тысяч человек населения, – но провинциального до глухоты. Он застрял ровно посередине между двумя крупными городами – Уфой и Оренбургом. До обоих центров цивилизации было пять с лишним часов автобусного хода, то есть почти бесконечность.

Наша окраина даже имела собственное название – Жилпоселок. Это было семь маленьких, будто выстроившихся в шеренгу улочек, каждая из которых одним концом примыкала к объездной дороге. На этих улочках стояли домики – не большие и не маленькие, чаще всего деревянные, в три окна, одноэтажные с двускатными крышами. Такие, как наш.

А по ту сторону от объездной дороги была, ни много ни мало, тюрьма строгого режима, или, если точнее, мужская исправительная колония №7 УФСИН России по Республике Башкортостан с лимитом наполнения 1631 человек – самая большая тюрьма в регионе. Мы жили бок о бок с заключенными и не видели в этом ничего особенного. Одно время, когда в округе позакрывались дышавшие на ладан заводы – кирпичный, химический и железобетонных изделий, – «зона» осталась «исполнять обязанности» градообразующего предприятия. Тем, кто работал там, завидовали не таясь.

У моей школьной подруги Насти «на зоне» работал отец. Настина жизнь казалась мне недостижимым раем: они жили в большой квартире в новом доме, и у Насти была своя комната с огромным черным музыкальным центром Sony в нише «стенки». В гостях у Насти я слушала песни Рикки Мартина на CD-дисках, а дома помогала маме склеивать порванную стареньким магнитофоном «Весна» ленту в кассетах с песнями Modern Talking. Каждый год Настя с родителями ездила отдыхать на море, приезжала оттуда загоревшая до черноты, лоснящаяся внешне и сияющая изнутри. Мама слушала мои рассказы о Настиных поездках и говорила равнодушно: «Ничего, нам бог дал такую кожу, что мы и на огороде загорим не хуже». Мы и загорали.

Из нашей семьи «на зоне» когда-то работал мой дед. Бабушка рассказывала, что он был снабженцем. Он умер, когда мне не исполнилось и четырех лет, но какие-то обрывки воспоминаний о нем у меня все же сохранились. Например, я помню, как-то раз он принес мне с работы банан. Банан в девяносто третьем году в Мелеузе! Не то «зона», не то земля обетованная. Чудеса!

Есть еще одна причина, по которой я не чувствовала по отношению к ээкам, как называла заключенных бабушка, ни страха, ни неприязни. Каждое утро с сентября по май я шла в школу под звуки «Прощания Славянки», доносившиеся со стороны «зоны». Ровно в семь тридцать у заключенных начиналась зарядка. Ровно в семь тридцать я выходила из дома. Мне кажется, мы и шагали вместе в такт этому военному маршу: ээки – по плацу, я – по обочине выщербленной асфальтовой дороги на автобусную остановку. До сих пор эта музыка пахнет для меня влажным осенним утром: желтые листья с тополей по соседству уже опали и легли на траву ровным слоем, блестящим после дождя. Наверное, так же она пахнет и для кого-то из переживших свой срок сидельцев. Видите, как много у нас общего.

Моя школа находилась довольно далеко, почти в самом центре города, и ездить туда мне приходилось на автобусе. Мама решила, что лучше я буду тратить свое время и немного ее денег на дорогу и учиться в «гимназии», чем просиживать штаны в обычной школе по соседству. Я не спорила.

В нашем городе было всего четыре автобусных маршрута: «единица», «двойка», «тройка» и «четверка». От Жилпоселка в центр ходила «тройка» на ней я и ездила десять лет подряд в школу и обратно. Моими любимыми автобусами были желтые и красные ЛиАЗы, похожие на медленных и уставших коров. Их большие круглые фары светили мощным теплым светом, так что на пустынной утренней дороге автобус можно было заметить издали. «Идет, идет», – перебрасывались пассажиры друг с другом и высыпали из-под козырька остановки к обочине, туда, где автобус должен был остановиться.

Утром народу было много, давили со всех сторон так, что не было никакой возможности хотя бы уцепиться за поручень. Однажды какой-то дядька, стоявший передо мной, сказал, что в таких условиях держаться можно только за воздух зубами. Я запомнила эту фразу и с тех пор время от времени ею пользуюсь. Спасибо, дядька. А вот днем, когда я после уроков возвращалась домой, ленивые ЛиАЗы ходили по городу почти пустыми. В одном из них, моем любимом, на стекле, отделяющем водительскую кабину от салона, висел плакат. Крупные белые буквы на красном фоне: «И это пройдет...» Раньше эти слова значили для меня, что пройдет все плохое, и я вспоминала их, когда было совсем невмоготу. Теперь они значат, что пройдет вообще все, и тот мир, казавшийся таким обыкновенным, исчезнет, поэтому надо скорее вспомнить его и написать.

ЧАСТЬ 2

Я, конечно, наврала. Или все перепутала. Или не хотела об этом думать, когда писала. На самом деле у меня, конечно, был еще и отец (действительно, не партеногенезом же размножилась моя мама!). И я даже кое-что о нем помню. А именно – два длинных кадра, оба черно-белые, как старые фотографии из несуществующего уже маминого альбома.

Кадр первый: отец несет меня «на шее». На самом деле, конечно, на плечах, но в нашей семье говорили именно «на шее». Сесть на шею, свесить ножки – оттуда же. «Сели старухе на шею, и хоть бы хны!» – кричала бабушка маме, когда они ссорились и снова что-то (дом, жизнь) делили и не могли поделить.

денная картонная корочка с четырьмя черными буквами «СССР» на лицевой стороне. Внутри корочки аккуратным почерком написано про меня: имя, фамилия, отчество, число, месяц и год рождения, место рождения, сведения о родителях. В графе «национальность» у матери стояло – «русская», а у отца – «удмурт». Я побежала к маме.

– Мам, получается, я наполовину удмуртка?

– Кто тебе сказал? Русские мы.

– Но в моем свидетельстве о рождении написано, что отец – удмурт!

– Мало ли что там написано. И кто разрешил тебе рыться в сумке с документами? Руки бы тебе пообрывать...

Я не стала продолжать спорить, потому что ситуация могла обернуться углом в бабушкиной спальне. Да и аргументов особенно не было. Вместо этого я подошла к трюмо, села перед ним и принялась разглядывать свое лицо. Темная кожа, которая уже ранней весной начинает загорать, а к августу превращается в шоколадно-бронзовую. Темно-каштановые, слегка выщипанные волосы, глаза болотного цвета. Точно не Аленушка из сказки.

«Я гулять», – бросила я маме и пошла в библиотеку. Она находилась рядом, в Жилпоселке, в старом двухэтажном кирпичном доме (мама, проходя мимо, приценивалась: вот бы купить в таком квартиру. И недорого, наверное, и с удобствами, и остановка под боком). Библиотекарша меня знала давно. Я, наверное, была единственной читательницей «Школьной роман-газеты» в околотке, и этот факт она считала чуть ли не личной своей заслугой.

– Здравствуй-здравствуй, – сказала она мне, когда я вошла. – А нового номера не было еще.

– У вас есть что-нибудь про удмуртов? – спросила я без обиняков.

Библиотекарша не подала виду, что ее что-то удивило, хотя было лето и каникулы, и даже школьной необходимостью такой внезапный запрос не объяснишь.

– Сейчас посмотрю.

Она вернулась, неся в руках не слишком толстую, но довольно большую по размеру книгу в синем переплете. «Народы России. Энциклопедия», – прочитала я золотистые буквы на обложке. И села за обшарпанный, когда-то лакированный стол читать.

Энциклопедия была 1994 года издания. По меркам нашей районной библиотеки – новехонькая (шел 2002-й). Тонкие листы книги приветливо шелестели. Кое-где их приходилось разлеплять – неровно обрезанные страницы цеплялись друг за друга. Это было почему-то приятно.

Текст в книге был набран мелко-мелко и расположен в три столбца. По указателю этно-ни-мов я нашла удмуртов и прилежно просмотрела все страницы, на которых они упоминались. Выяснилось, что:

«Основой для формирования древних У. послужили автохтонные племена Волго-Камья. В разные историч. периоды имели место иноэтнич. включения (индоиран., угор., раннетюрк., слав., позднетюрк.). Истоки этногенеза восходят к ананьинской археологич. культуре (8-3 вв. до н. э.). В этнич. отношении она представляла собой еще не распавшуюся, гл. обр. финно-пермскую общность. Ананьин. племена имели разнообразные связи с дальними и близкими соседями...»

Решив, что я, видимо, и есть плод такой связи, я принялась разглядывать картинки. На одной – цветной – фотографии стояли женщины в нарядных передниках из розового атласа (в тот год мама купила мне в школу атласную блузку, так что я вполне могла идентифицировать материал). Все в косынках, все русые и рыжие. И лица – загорелые, но не так, как загораю я. Скорее красноватые, чем темно-коричневые. Вот черт.

Наверное, меня подбросили цыгане, решила я, вернула книгу библиотекарше и ушла, оставив ее в недоумении. Загадку моей внешности мне удалось разгадать только почти двадцать лет спустя.

* * *

Лет в шестнадцать, когда я стала понимать, что с мамой творится что-то неладное, мне ужасно захотелось найти отца. Каким бы он ни был, лишь бы у мамы появился еще хоть кто-то, кроме меня.

Возможно, эта мысль родилась у меня с бабушкиной подачи. Она тогда любила смотреть по Первому каналу передачу «Жди меня». Иногда комментировала: «Эх, нашего бы беспутного найти. Ведь золотые руки были, кабы не пил! Ты знала, Надька, что это отец твой с братом своим баню нам поставили? Вдвоем ведь за неделю справились. Что сказать – деревенские мужики, с руками. Пьянка эта все, тьфу». Она со злостью тыкала артрозным пальцем в красный глаз кнопки на телевизоре, и экран гас. И так каждую неделю.

Я представляла, что напишу ведущим Игорю Кваше и Марии Шукиной письмо, и отца найдут, и мама приедет в студию, и они выйдут друг к другу: она – из зала, а он – из-за разъезжающихся в разные стороны дверей...

Дальше мечты вступали в явное противоречие со здравым смыслом. В мечтах оба были красивые. Мама – в своем длинном летнем платье с открыты-

печенье «Мария») и по совместительству тоже матерью-одиночкой. С ее дочкой Лианкой мы крепко дружили все детство: скорее на основе общности судеб, чем интересов.

Те палочки были совсем не такие сладкие и воздушные, как Женькины. Много в мешке было твердых, как ириски, и они липли к зубам. Естественно, я все равно ела до тошноты, гордая от того, что весь мешок – мой, мысленно показывала фигу и Женьке вместе со всей ее «полной» семьей, и Татьяне Александровне. А потом у меня началась рвота и поднялась температура, так что всю оставшуюся неделю я не ходила в школу. Никто в классе никогда не узнал почему.

А однажды, через несколько лет после того случая, мы с Женькой вместе ехали из музыкалки домой. Ее мама в тот день была вопреки обыкновению довольна моей подготовкой, хвалила меня и улыбалась. В конце урока Женька вскочила в ее (наш) класс, где я все еще сидела, погребенная под аккордеоном.

«Ма, меня отпустили, ты идешь?» – бросила она, на ходу скидывая туфли, чтобы переобуться.

«Нет, у меня еще два урока с двоечниками, но вот Надя, наверное, идет. Можете зайти к нам, чаю попить. Я конфет “Ласточка” вчера купила. Папы дома вроде бы нет», – сказала она и посмотрела сначала на меня – с приглашающей улыбкой, потом на Женьку – как мне показалось, чуть дольше, чем обычно смотрят в таких случаях.

Я сначала хотела от приглашения отказаться (это выглядело бы гордо и красиво, думала я), но, во-первых, мне было интересно, как Женька живет, а во-вторых, у них дома – конфеты. А у нас опять только вишневое варенье, засахарилось.

У Женьки с родителями была совсем маленькая «двушка» («Зато собственная и с удобствами!» – сказала бы моя мама и вздохнула бы тяжело), где одна комната была Женькиной целиком, а половину второй занимало ее пианино.

«Что ты будешь есть, лапшу или щи?» – спросила меня Женька, по-хозяйски заглядывая в изжелта-белый холодильник «Бирюса». Я быстро взвесила в голове: лапша, если ее не только что сварили, уже раскисла и невкусная, а щи на третий день становятся только лучше, говорит бабушка.

«Щи», – сказала я. И Женька почему-то очень обрадовалась моему выбору. Оказалось, что я жестоко ошиблась. То, что Женька назвала «лапшой», на самом деле было макаронами по-флотски, для которых в Женькином холодильнике нашелся даже очень красный «Шашлычный» кетчуп в большой бутылке из

красного пластика. А щи были просто щами, ничего особенного. «У бабушки даже вкуснее», – думала я, хлебая ложку за ложкой и отводя глаза от того, как с аппетитом уминает макароны Женька.

«А папа твой когда придет?» – решила я завети невинный разговор. Женька ведь не знала, как трудно моим губам складываться в эти два простых слога. «Твой» следовало за ними быстрее, чем было нужно, получилось так, будто я подавилась супом и мне надо скорее сглотнуть. Ну и ладно.

«Да лучше бы вообще никогда, – коротко ответила Женька и тут же сменила тему. – Знаешь, как я конфеты ем?»

Тот день принес мне два важных открытия. Во-первых, что одну конфету «Ласточка» можно разрезать на десять тоненьких полосок и медленно есть их по одной, запивая чаем с молоком. «Так вместе с одной конфеткой можно выпить целых две кружки чаю и наестся», – наставляла меня Женька. У нее и фамилия была подходящая – Наставникова. А во-вторых, можно, оказывается, не хотеть, чтобы папа пришел.

«Может быть, с Женьками в этом мире что-то не так?» – придумала я самое подходящее объяснение, глядя на одноклассницу и вспоминая своего двоюродного брата, прятавшегося от отца под столом. У меня не укладывалось в голове, что нормальный человек может всерьез не хотеть иметь папу: видеть его каждый день, держать за руку, расчесывать ему волосы, звать на помощь, когда тебя обижают... Вот я, например, очень хотела. Настолько, что иногда мне казалось, что даже мамин не случившийся «дядя Вова» на роль моего папы вполне сгодился бы.

* * *

Отцовских вещей в нашем бабьем царстве после его отъезда осталось совсем мало. Наверное, только пара клетчатых, наполовину синтетических рубашек с коротким рукавом. Там, в моем воспоминании, где он несет меня «на шее», на нем именно такая.

Одна из рубашек точно была желто-оранжевой. Я это запомнила, потому что однажды мне пришлось в голову, как здорово она подходит по цвету к нейлоновой накидке, которой бабушка накрывала экран телевизора, когда его не смотрели. На накидке были огромные цветущие подсолнухи.

Когда у мамы было подходящее, воинственно-ностальгическое настроение, она надевала эту отцовскую рубашку и ходила в ней по дому. Бабушке это почему-то не нравилось.

«Вырядилась опять! Чего, своей одежды нет?» – говорила она всегда примерно одно и то же.

«Отстань», – всегда примерно одно и то же отвечала мама.

Но вот однажды чем-то раздосадованная мама отправила меня мыть полы на кухне, а сама легла на кровать в своей комнате, подложив сразу две подушки под спину, закинув одну ногу на согнутую другую и нервно подергивая стопой. Уже совсем скоро все свои дни она станет проводить или так, или в «позе эмбриона», лежа на боку и уткнувшись лицом в стенку.

В нашем случае «кухня» несколько отличалась от того, что обычно называют этим словом. Это была большая кирпичная пристройка к деревянному срубу дома, появившаяся уже после того, как бабушка с дедом сложили «избу». В «кухне» поставили большую печь-голландку, а за ней – умывальник с носиком и ведром под ним. Сюда же выставили все, что плохо помещалось в «избе»: не только кухонный гарнитур и обеденный стол с четырьмя крашенными рыжей эмалью табуретками, но и огромный старый шкаф из толстого дерева (чей-то подарок деду с бабушкой на свадьбу), и вешалку для верхней одежды, и старый диван, и два холодильника, и сервант, в котором бабушка хранила хрусталь и «похоронное» (большой рулон красной ткани на обивку гроба, стопку «поминальных» вафельных полотенец, новый комплект белья и коричневый строгий костюм с юбкой. Раз в год, летом, бабушка перетряхивала все это и просушивала, «чтобы моль не поела», и раз в год напоминала, постукивая кривым артрозным пальцем по дверце серванта: «Вот умру, достанете отсюда, что надо». Речь, естественно, всегда была обращена ко мне. Мама в такие моменты старалась уходить с глаз долой).

Одним словом, «кухня» была большой и плотно заставленной мебелью. Пол был дощатым и крашенным эмалью. Такой же, как табуретки, кстати, – чтобы и «в цвет», и на лишнюю краску не тратиться. В щели между досками забивалась пыль и кухонная грязь. По-хорошему надо было сначала ее вымести обрубком «домашнего» веника (этот был мягкий, покупной; для улицы у нас были самодельные чилиговые, которые бабушка и резала, и вязала сама), а уже потом мыть. Если никто не видел, можно было попробовать схалтурить и не подметать сначала. Но тогда уже на следующий день пол снова становился грязным, будто и не мыли, и мама могла заставить меня повторить всю операцию сначала. В общем, мыть полы на кухне я страшно не любила. Но об этом лучше было помалкивать.

«Где тряпку взять?» – спросила я у мамы.

«Уже в ведре лежит, ведро на крыльце», – ответила она.

Я вышла на крыльцо. Там стояло оцинкованное половое ведро, большое и неудобное. Его я тоже не любила. Ручку у ведра надо было аккуратно класть, а не бросать, иначе она противно звенела, и этот звук легко мог вывести маму из себя. Тысяча нюансов, которые нужно знать, если тебе двенадцать лет и ты хочешь жить спокойно.

В качестве половой тряпки на дне ведра в этот раз лежала отцовская желто-оранжевая рубашка в клетку.

* * *

Я любила бывать на могиле у деда. Я даже могла найти ее самостоятельно, по столбам линии электропередач. Нужно идти по кладбищенской дороге, на обочине которой растут эти столбы, и считать. Сразу после восьмого свернуть направо и идти между могилами. Дедова будет сразу за холмиком с высокой металлической оградкой, покрашенной «серебрянкой».

«Ну здравствуй, Александр Палыч, – говорила бабушка, когда мы приходили с ней вдвоем. Трижды хлопала ладонью по кирпичу оградки в изножье. – Все лежишь? Ну лежи, лежи, мы уж без тебя как-нибудь».

Она вздыхала и принималась щипать траву-мокрицу шепотью своих кривых пальцев. А потом мы садились с ней за низкий столик у дедовых ног, бабушка обтирала руку о штаны, доставала газету «Путь Октября», стелила ее поверх пузырящейся краски стола, вынимала из сумки вареные яйца, хлеб, горсть лимонных карамелек и китайский термос с разноцветными маками на желтом боку.

«Помяни деда», – бабушка протягивала мне яйцо. Сама же как бы нехотя разворачивала карамельку, забирала ее за щеку и долго молча сидела, глядя в глаза фотографии на памятнике. Дед на ней был уже седой, лицо осунулось, щеки ввалились, глаза ушли далеко в череп. Он смотрел в камеру грустно, но как будто все-таки еще старался чуть-чуть растянуть уголки губ.

«Ему тогда уже недолго оставалось, а он все молчал. Только попросишь что сделать, а он: “Погоди, мать, я полежу”. Вот так я и годила, а он лежал. Вся жизнь. С утра до вечера на работе, потом приди – скотину накорми, жрать приготовь, воротнички дочерям перестирай, высуши да пришей. А свекровь хоть бы хны на печке лежит, да с боку на бок пе-

реворачивается. Я ж и детей своих не видела: два месяца малышам было, как я на работу вышла, что в первый раз, что во второй. Она их беленой накормит, чтобы спали целый день, да лежит – попердывает. А он то на охоте, то на рыбалке, то пьяный, то больной. Ох, мама-мама... Ладно, Александр Палыч, лежи, а нам лежать некогда, пойдем мы».

И она вставала тяжело (хоть была еще совсем не старая), знакомым жестом стучала по кирпичу ограды и удалялась по тропинке в направлении столбов. Я, на ходу дожевывая застревающее в глотке яйцо, шла за ней.

Один только раз я пришла на могилу к деду одна. Это было время, когда я полюбила после школы бродить где-нибудь. Дома находиться было уже невыносимо. Мама все глубже проваливалась куда-то в свою черноту, все мои попытки достучаться до нее она легко и зло пресекала. «Не лез!» – иной раз, срываясь на визг, кричала она. И я уходила. Брала с собой общую тетрадь в синей картонной обложке и тащилась куда-нибудь, где можно посидеть в тишине и подумать на бумаге.

В тот день ноги сами привели на кладбище. Восьмой столб – направо – ограда в «серебре» – могила деда. Знакомые скамейка и столик посерели от времени, краска совсем облезла.

«Ты же можешь где-то там заступиться за нее? Она же тебе все-таки дочь. Ты же у нее все-таки был. Если можешь, заступись, пожалуйста. За нее. За бабушку. И за меня, если силы еще останутся. Ты же знаешь: отец пропал без вести. И так не было его, а теперь и совсем нет. Может быть, он умер, но я никогда не смогу прийти к нему и попросить, как к тебе. Поэтому прошу тебя одного. Помоги, пожалуйста», – говорила я, заговаривала саму себя.

А дед все смотрел с выцветшей фотографии и все старался улыбнуться чему-то.

* * *

В В. меня тоже первым делом повели на кладбище. Таксист остановился в самом начале деревни, у Дома культуры, местной гордости: пару лет назад неведомой милостью республиканской администрации его отремонтировали. Туалет, впрочем, как был, так и остался на улице.

Если пойти по дорожке мимо туалета, мимо клумб, вырезанных из старых автомобильных покрышек, в которых взахлеб цветут оранжевые ноготки и темно-синие астры, мимо небольшого участка, засаженного картошкой, то окажешься во дворе старой школы. В ней еще мой отец учился, но это когда было.

Сейчас на всю школу осталось двадцать восемь учеников: в среднем по три человека в классе. Куда им целое здание? Поэтому здесь же, в школе, разместили и деревенскую библиотеку, и фельдшерско-акушерский пункт, и даже сельскую администрацию. Туда-то я и держала курс, как выяснилось.

Меня должна была встретить тетя Люба, Любовь Анатольевна. Фамилия у нее была такая же, как у меня, хоть мы и не родственники. Просто на всю деревню было три фамилии: Дюкины, Федотовы и мы. Я нашла в «ВКонтакте» тети-Любиного сына, и это он договорился с мамой, что она меня встретит и, может быть, приютит.

Телефон не ловил, и я спросила у уборщицы из клуба, где могу найти Любовь Анатольевну. Та без лишних вопросов показала на школу. А охранница в школе – на кабинет в углу коридора со скромной надписью «Администрация» на фанерной табличке. Так я узнала, что тетя Люба ни много ни мало – глава сельсовета.

Она отвела меня домой, где у ворот нас уже ждали дядя Леша и дядя Толя. Дядя Леша был муж тети Любы и, как выяснилось, лучший друг моего отца по совместительству. Он даже был свидетелем на родительской свадьбе. А дядя Толя – мой родной дядя. Видела я его в сознательной жизни впервые, а эхом из детства до меня доносилось только его имя да имя его дочери – Лада. «Интересно, где она теперь», – подумала я, глядя на него.

– Ннадюш, – сказал он, чуть просвистывая сквозь отсутствующие зубы, и потянулся ко мне обнять. Он принарядился для встречи. Нейлоновая рубашка с пальмами и надписью *My family is my pride* облепила его худую грудь и хлопала полами по тощим бокам.

– Как ты на папу похожа, – сказал дядя Леша.

Оба были уже слегка выпивши. У обоих влажно блестя глаза.

Дядя Леша – очень высокий, длиннорукий и длинноногий, сутулый и худой. Лицо у него широкое и загорелое, глаза – темные. Короткий ежик волос теперь седой, но в седине еще виднеются темные волосинки. Дядя Толя значительно ниже его ростом, но так же смугл и темноглаз и еще более худ. Между желтыми пальцами зажата папиросина-самокрутка. Костлявая грудь под цветастой рубахой – колесом, морщинистый кадык торчит далеко и, кажется, не помещается в ворот. Сразу две верхние пуговицы дядиной рубашки расстегнуты.

У меня с обоими совершенно одинаковый оттенок кожи, что-то общее угадывается и в чертах лица. А вот тетя Люба совсем другая – светлокочая, русо-

волосая, сероглазая. Такая, как удмуртки на фотографии из библиотечной энциклопедии.

– Сейчас придет тетя Валя, и сходите на кладбище, – сказала она, когда мы перездоровались. – А мне на работу вернуться надо. Вечером посидим, поговорим.

По дороге от школы до дома Любовь Анатольевна рассказала мне, что тетя Валя – моя двоюродная тетя, дочь бабушкиной родной сестры, с которой они всю жизнь прожили вместе и воспитали пятерых детей на двоих. До того момента о существовании тетки я и не догадывалась.

Она оказалась маленькой, полной, сильно близорукой и почти совсем беззубой, и к тому же прихрамывающей на одну ногу. Несмотря на это, двигалась она шустро, заложив за спину обе руки и на каждый шаг пиная зажатую в них авоську. Тетя Валя шла впереди нашей кладбищенской процессии, как бы указывая нам путь, хотя все, кроме меня, прекрасно его знали.

«Вон ту водонапорную башню видишь? – Дядя Леша показал рукой на высокую ржавую громадину, стоявшую посреди заросшего пыреем поля. – Папа твой варил».

«Папа» он произнес как будто с ударением на обоих слогах, и оттого звучало оно неестественно. Хотя какой естественности я вообще могла ждать от этого слова?

Уже потом я узнала, что в удмуртском языке большая часть ударений падает на последний слог, поэтому и русские слова удмурты часто переделывают по привычке: «папá», «мамá», «Алешá», «Надý».

Я видела, что говорить по-русски всем троем тяжело. Они с трудом подбирали слова и то и дело «съезжали» на удмуртский. Я не понимала ни слова, и было в этом что-то противоестественное – не знать своего языка.

Кладбище было маленьким и глухим. Из-за множества березок и осин оно больше напоминало рощицу. Могилы не были огорожены так, как огораживали их в М. Холмики лепились почти вплотную друг к другу. У каждой семьи – в ряд. Клочок земли рядом с родными костями старики присматривают себе еще при жизни, наставляют детей похоронить их именно там. Вот и баба Нина, тети-Валина мать, умершая всего за месяц до моего приезда, завещала похоронить ее рядом с сестрой: «Там, где Тоня».

На ее могиле стоял свежий крест, на кресте – только имя и годы жизни, без фотографии. А я совсем не помню, как она выглядела. На могиле бабы Тони стоял белый, как будто беленый, и кое-где уже облезший памятник. Фотография на нем была

мне знакома. Такая же лежала между страницами в нашем домашнем альбоме, пока мама не порвала и не порезала его. Прямо на меня смотрела строгая женщина с темной, уложенной вокруг головы косой, с поджатыми в гузку губами, в темном платье с белым отложным воротничком. Она была на два года старше своей сестры и прожила на шестнадцать лет меньше. Почему-то стыдно было стоять перед ней вот так, с распущенными волосами, в джинсах-дудочках и дорогих кроссовках. Какой-то слишком легкой, даже легковесной казалась перед ее смертью моя жизнь.

«Надююш, – позвал меня дядя Толя. – Пошли, еще кого покажу».

И он отвел меня чуть в сторону, к могиле с небольшим металлическим памятником в изголовье. С фотографии взглядом бабы Тони смотрел пожилой мужчина с зализанным набок чубчиком волос, со всех сторон обрамленным лысиной, с бровями-крыльями. И у него была моя фамилия.

«Брат», – коротко прокомментировал дядя Толя.

Так я узнала, что у меня был еще один родной дядя.

Сзади подошла тетя Валя.

«Если бы отец умер, его бы здесь похоронили?» – спросила я у обоих.

«Что ты, что ты, может, жив Алешá еще», – замалахала тетка на меня рукой. Дядя Толя просто отвернулся.

* * *

Двор бабушкиного дома оказался вовсе не таким большим, как мне запомнилось с детства. От холодных сеней до туалета всего четыре-пять взрослых шагов. А где тут помешалось стадо гусей и с десяток овец? Почему мне казалось, что бежать далеко? В детстве все кажется больше, чем на самом деле.

«Вон он, двор-то». Дядя Толя показывает на покосившееся строение из серых досок с низкой, ниже моего полтораметрового роста, крышей. То, что в М. называли сараем, здесь называют двором. Выходит путаница.

Сарай. Туалет. Палисад под окнами. Все сбито из досок, отполированных временем, им же выкрашенных в однотонный серый. Того же цвета и дом – серые бревна без обшивки, серые оконные рамы без ставней. Отзвучал этот дом, отсмеялся детским смехом, отплакал бабьими слезами, не раз и не два умылся равнодушным дождем. Затих, стоит. Слушает время.

Только месяц прошел с тех пор, как умерла баба Нина. В последний раз она вздохнула в день рожде-

Оказывается, мой отец был настоящий Жан-Клод Ван Дамм. В дембельском альбоме есть его фотография в парадной форме.

ния моего сына, когда я, задерганная, бегала по квартире, надувала воздушные шары, развешивала по стенам гирлянды, накрывала на стол, играла с сыном и ребятишками, приглашенными на праздник. Ни о жизни, ни о смерти я не думала, конечно. А жизнь и смерть в этот день тихо встретились – и разошлись.

Тетя Валя оставила в доме все как было. В углу слева, сразу как войдешь в избу, стояла узкая никелированная кровать, заправленная серым покрывалом. На ней баба Нина спала всю жизнь, на ней и умерла.

«Когда вы здесь жили, она забирала тебя с собой спать, чтобы ты не мешала молодым. Они вон там спали. – Тетя Валя показала на точно такую же узкую кровать с такой же панцирной сеткой в противоположном углу избы. – Вынынчила она тебя».

Эту историю я помню. Ее мне рассказала мама в одну из редких минут светлой ностальгии.

За несколько дней до моего рождения мама заболела.

«Новый год на носу, а в деревенском магазине нет ничего, один березовый сок в трехлитровых банках стоит поверх пустых холодильников. Ну я и поехала в город, думала, куплю чего. Села у окна в автобусе, там и продуло».

Дальше – понятно: у мамы – пневмония, а у меня – день рождения под самый Новый год, на два месяца раньше срока. Роды вызывали искусственно: врачи сказали, иначе я не выживу. Первые недели после моего рождения мама лежала с температурой под сорок. Грудного молока, естественно, не было. 0 детских молочных смесях в деревне В. на исходе 1990 года и слыхом не слыхивали.

Меня выкормила – парным коровьим молоком и разжеванным черным хлебом – баба Нина. Моя родная бабка – баба Тоня – в воспитании детей участия

почти не принимала. Она была в доме за главную и следила, чтобы всегда была еда и хоть какие-то деньги. Я совсем не помню ни одну, ни вторую. В мире моего детства бабушка всегда была одна.

«Айда что покажу». Тетя Валя повела меня из избы в сени. Со скрипом открыла сбитую из горбыля дверь. В чулане, погребенная под ворохом душистых сушеных трав, стояла детская коляска-люлька Древняя, на четырех огромных колесах с толстыми спицами, обтянутая клеенкой лазурного цвета, уже изрядно потрескавшейся, с большим не складывающимся «капюшоном», на котором горкой лежал слой бурой травяной пыли.

«Твоя. Баба Нина не давала выбрасывать. Говорила, вдруг пригодится кому».

Мамочки.

Потом, порывшись где-то на кухонной полке, занавешенной пыльной шторкой, тетя Валя достала два толстых альбома. Один – коричневый, обшитый как будто фетром, с самодельными металлическими буквами, приклеенными к обложке. «Память о службе», – читаю я. Дембельский альбом отца. Второй – красный, точь-в-точь такой же, как был у нас дома. «Наш свадебный альбом», – маминой рукой написано на его форзаце.

Так у меня снова появились семейные фотографии.

* * *

Оказывается, мой отец был настоящий Жан-Клод Ван Дамм. В дембельском альбоме есть его фотография в парадной форме. Портрет. Яркие улыбающиеся глаза с белками цвета свежего снега, прямой нос, идеальной формы губы, красные даже на черно-белой фотографии, чуть более женственные, чем нужно. Едва заметная морщинка от улыбки на левой щеке, небольшие аккуратные уши и сильная шея. Такой солдат прекрасно подошел бы для плаката, призывающего вступать в ряды Советской армии.

В деревне Алешу называли Академиком. Он был лучшим учеником в школе, но уже лет с пятнадцати был не против выпить.

«Подбежит ко мне в коридоре, прижмет к стене, придвинется близко-близко и говорит: “Есть что выпить, Зин?” А я говорю – есть, мать брагу поставила, приходи вечером, вынесу. А он улыбнется всем лицом и поцелует меня прямо в губы», – двусмысленно глядя на меня, рассказывала статная и не по-деревенски ухоженная татарка Зинира, одноклассница отца. Она работала заведующей деревенским клубом, но не просто переключивала и подписывала бумажки, а еще и руководила са-

моделятельным народным театром, разговаривала с «актерами» по-удмуртски без единой запинки, то и дело вставляя в речь татарское «Алла берка».

«Почему твоя мама не искала его совсем? Как мы его потеряли?» – театрально вздыхает она. Нет, Зина, я не буду тебе отвечать. Я не дам тебе повода посудачить обо мне с подружкой. Все равно ничего не поймешь.

После школы отец легко поступил в Ижевский механический институт, но не проучился там и полугода, приехал назад. Деревенские стали спрашивать бабу Тоню, почему Алеша не учится. «Денег много потратил, я его вернула. Пусть работает здесь», – ответила она и больше никогда к теме не возвращалась. Отец быстро выучился на сварщика на курсах в поселковом ПТУ, пробыл дома до весны, а потом ушел в армию. Его взяли в ПВО.

«Не вини бабушку во всем. Может, это только в деревне Алеша был Академиком, а в большом городе потерялся. Кто теперь разберет?» – сказала мне как-то вечером баба Граня, мать тети Любы и первая учительница отца. Да я и не виню, куда мне.

...На одной из последних страниц дембельского альбома я нашла другую фотографию, будто случайно всунутую меж страниц. Маленькая, два на три сантиметра. Отец анфас. На обороте простым карандашом надпись незнакомым почерком: фамилия отца и дата, 28.01.98. Спустя десять лет после армейской. Отцу там почти тридцать, как мне сейчас.

Жан-Клода Ван Дамма не узнать. Лицо отекло и как будто потеряло резкость. Глаза уменьшились, белки пожелтели. Правая бровь рассечена, на щеке уродливый шрам. Под глазами темные круги и складки кожи. Губы расплылись и побелели. Только складочка на левой щеке все та же, хотя на этой фотографии отец и не улыбается совсем.

* * *

День, когда отец ушел навсегда, в деревне до сих пор помнят по часам. Был конец мая, сажали картошку. Это север Удмуртии, район стоит примерно на одной широте с Великим Новгородом. Там прохладно. Тетя Валя шутя называет В. «краем вечно-зеленых помидоров». Так что и картошку там сажают позже, чем в средней полосе. Чем у нас в М.

С утра отец работал со всеми, а около одиннадцати воткнул лопату в землю, отряхнулся, выпрямился и ушел с поля. Все (дядя Толя, баба Нина и тетя Валя) думали – на перекур и удивились, что один, молча. Когда отец не вернулся через час, решили, что он нашел где-то бутылку и уединился

с ней. Досажали без него. Когда Алеша не появился и на следующий день, решили, что он уехал в райцентр, а там попал в «обезьянник».

Такое тоже уже случилось: его держали в камере ночь, чтобы проспался, а потом везли куда-нибудь на дачу маленькой местной «шишки», которой срочно надо было сварить трубы отопления или поставить новый забор. Отец делал все как следует, а платить ему за это не надо было. Идеальный работник. Его мастерством хвастались, его самого передавали из рук в руки. Нравился ли такой расклад ему самому, никто не спрашивал.

Одним словом, искать отца по горячим следам никто не бросился. Уже потом, когда поняли, что он потерялся, стали спрашивать по деревне, кто что видел. И продавщица из сельмага вспомнила, что в тот день встретила Алешу на автостанции в поселке и что он просил у нее денег на билет до дома.

«А я поняла, что не на дорогу ему нужно, и говорю: “Пойдем, Алеша, я сама тебе билет куплю, и поедем вместе”. А он только рукой так махнул и ушел», – рассказала она. Продавщица была последней из деревенских, кто видел отца живым.

«Надя, у нас же тут “черных” много в те годы бывало». Дядя Леша наклонился ко мне, сложившись чуть не вполювину, чтобы заглянуть в лицо.

«Каких “черных”?» – спрашиваю.

«Ну, армян или чечен, не знаю. Мы их тут “черными” называем».

«Аааа. И что?»

«Я думаю, они его увезли. В рабство. Знали ведь, что руки золотые».

«Аааа».

* * *

Раньше дядя Леша был лучшим другом моего отца, а как тот пропал, стал лучшим другом дяди Толи. Каждое утро ровно в десять (когда водку уже можно купить) они вдвоем идут в сельмаг за «маленькой». Если день хороший, то «маленькая» будет не одна.

Чаще пьют на деньги дяди Леши. Он работает сторожем в школе и получает зарплату – тринадцать тысяч рублей, или семьдесят две пол-литры в пересчете на водку. По деревенским меркам – недурно. Дядя Толя не работает, и до пенсионного возраста он тоже еще не дожил. Живет натуральным хозяйством и редкими подработками: копает деревенским старухам грядки, чистит зимой снег, иногда ходит пасти чужих коров.

Свою избу-пятистенку он называет конурой. Она и правда мало похожа на человеческое жилище. Что-

бы не топить ее целиком, дядя Толя завесил проход на жилую половину старым ковром, а сам круглый год живет на кухне. Там у него все, как в других деревенских домах: кирпичная печь в центре, за ней – умывальник. В одном углу стол, в другом – узкая койка с панцирной сеткой. Только все это не мылось, кажется, лет десять. Или двадцать. Занавесок на окнах нет, а из-под кровати, как дула целой батареи игрушечных орудий, торчат бутылочные горлышки.

«Их что, еще где-то принимают?»

«Да нет, я так – по привычке...»

На кухонном столе у дяди Толи сушится табак-самосад. Там же лежит стопка тонкой мелованной бумаги – страницы какого-то аляпистого рекламного журнала – и кривоватый гвоздь: все, что нужно, чтобы крутить короткие рыхлые «козьи ножки».

«Дядя Толя, ты хоть что-нибудь ешь?» Почему-то я с самого начала взяла с ним этот мерзкий насмешливый тон.

«Ну как тебе сказать, Надюш. Я закусьваю. Когда пьешь, есть не хочется. Когда не пьешь, жор нападает. Но не пить я не могу».

«Может, попробуешь бросить? Ведь умрешь от цирроза или от рака легких».

«Не смогу я уже. И как я могу не пить, если у нас в стране даже президент спился?»

Я заводила этот разговор дважды. Во второй раз дядя Толя вместо ответа спел мне несколько строк из песни Пугачевой: «Ты, кукушка, перестань куковать, мне года считая. Сколько их останется мне – все они мои». Я попросила разрешения записать его голос на диктофон. Он махнул широко, разрешая, и стал еще больше стараться.

Про отца дядя Толя говорил мало и неохотно, а на меня смотрел всегда чуть влажными глазами. Много лет назад он ударил отца топором по голове и только чудом не убил его. В то время дядя Толя не пил совсем, а отец – запоями. Топором дядя Толя пытался младшего брата воспитать. Он проломил ему череп, за что получил два года условно. Отцу череп залатали, на место раздробленной кости поставили титановую пластину. Но, говорят, с тех пор соображать Академик стал гораздо хуже.

Отец всегда был сильнее дяди Толи, потому тот и схватился в драке за топор.

«Он мог сесть на пол и поднять себя на кулаках, представляешь?» – вспоминал дядя Толя.

«Так?» Я сделала «уголок». Это несложно, особенно если долго не стоять. Дядя Толя отвернулся в угол, чтобы я не видела, и стер слезы костлявым кулаком.

...Он повел меня показать дом, который купила его бывшая жена. Теперь дом почти всегда пустует: жена и дочь уехали в город и только иногда приезжают по выходным. Была как раз суббота. Лада, дочь дяди Толи и моя двоюродная сестра, стирала во дворе. Перед ней стояла табуретка на алюминиевых ножках, на табуретке – эмалированный таз, в тазу – маленькие разноцветные тряпочки. Это была та самая Лада из моих детских воспоминаний: еще один ребенок, существовавший в доме у бабушек.

Лада на три года старше меня. Она окончила девять классов деревенской школы, а потом выучилась в ПТУ на маляра. Работает уборщицей. Все это рассказал мне дядя по дороге.

Дядя познакомил нас, и мы все вместе пошли прогуляться. Налево за воротами Ладиного дома деревня кончалась. Между двумя высокими, покрытыми густой травой берегами текла река. Дно заросло тиной. Кое-где из воды торчали коряги, которые вода преодолевала с натугой. В таких местах она даже журчала громче, будто ругаясь. Через реку был переброшен узкий деревянный мостик. Я попросила Ладку сфотографироваться со мной на нем. Вместо ответа она повернулась к нам спиной и, широко махая рукой, быстро зашагала по направлению к дому.

«Эй, куда ты?» – закричал ей в спину дядя Толя.

«Белье стирать надо», – сказала она не оборачиваясь.

«Вот такая у меня Лада. Маленькая была – сидела на диване и часами раскачивалась из стороны в сторону. Что сделаешь?» Это он уже мне, оправдываясь.

Мы вернулись в дом. Лада яростно чистила за печкой какую-то металлическую посуду, сковородку, наверное. Сначала скребла по ней ложкой, потом булькала ее в таз с водой, потом с громким шоркающим звуком оттирала бока металлической щеткой. Мы с дядей сели на диван. Молчали.

В доме у Ладки с матерью было чисто и тепло. Краска на полу была свежая и блестящая. Островками то тут, то там лежали цветные круглые коврики. На окнах – коротенькие розовые занавески, кровать гладко заправлена, а поверх стоящей трехугольной подушки наброшен кусок белого тюля. Дядя Толя мог бы жить здесь, а не в своей «конуре», сложись все по-другому.

«Они ушли тогда, а я остался. Скотина там была, смотреть надо было. Да и не больно звали меня с собой-то», – объяснил он.

Из-за печки вышла Лада. Вытерла красные, голые по локоть руки о вышитое красными цветами

* * *



Есть одна нестыковка. По логике вещей, род определяет мужчина. В конце концов, Гортпи – это Красный сын, а не дочь. Но в случае с моими бабушками, чья молодость пришлось на конец сороковых и пятидесятые годы двадцатого века, система дала сбой. Они обе были Гортпи, и их пятеро на двоих детей, рожденных от четырех разных мужчин, тоже остались Гортпи.

Я приехала в В. за историей отца. Почему-то мне не приходило в голову, что она окажется лишь частным случаем закономерного сюжета о жизни советских баб – измученных бытом, мечтающих о передышке и, может быть, даже о счастье – не сейчас, когда-нибудь, «потом». Иногда у этих баб рождались дочери – и тогда история могла стать похожей на мамину, а иногда – сыновья, как в случае с моим отцом.

Баба Тоня родилась в 1925 году и была средней дочерью двадцатидевятилетней крестьянки Марии. Еще через три года родилась Нина. Мария выходила замуж трижды и похоронила всех троих мужей. Первый погиб на Первой мировой в 1918-м, отец бабы Тони и бабы Нины умер, надорвавшись на заготовке бревен в 1938-м, а третий муж Марии вернулся безногим с Великой Отечественной и прожил после этого еще совсем немного. Старость Мария встретила в избе дочерей, которую они втроем и срубили. В ней моя прабабка умерла в 1957-м, за десять лет до рождения моего отца. Туда же в январе 1991-го привезли новорожденную меня.

Баба Тоня родила троих сыновей от троих мужчин, ни один из которых не взял ее замуж. Всем троим сыновьям бабушка дала свою фамилию, оставив детям в память об отцах только разные отчества. Старший ее сын был Алексеевичем, средний – Александровичем, а младший, мой отец, – Леонидовичем. Он единственный из всех троих мог бы сделать вид, что фамилия досталась ему от отца, а не от матери: его так никогда и не расписавшиеся родители были однофамильцами.

Отец моего отца, как и он сам, был сварщиком, работал в гараже при колхозе. «Там они небось и пили вместе», – говорит тетя Валя. Я сверяю даты: вряд ли. Когда Леонид умер, моему отцу только исполнилось тринадцать. К тому моменту мой случайный дед успел жениться на молодой продавщице из сельмага и родить с ней четырех дочерей. Бабушка, которой в год рождения моего отца исполнилось сорок два, «уступила» молодой.

Бабе Нине везло не больше. Она была тихая, тонкая, нежная и любила высокомерного гармониста.

У них было уже двое детей – тетя Валя и неизвестный мне дядя Миша, когда гармонист женился на красивой татарке, матери отцовской подружки Зиниры. Проходил мимо бабы Нины по деревне – задира л голову, будто не замечает. И только его мать, несостоявшаяся баба-Нинина свекровь, встречаясь иногда с «невесткой» и внуками, совала им в карманы слипшиеся карамельки.

Так и жили в одной избе баба Тоня, баба Нина, их мать Мария и дети Валерий и Валя. Потом Мария умерла, а Миша и Толя родились. Последним из детей в этой избе с печкой посреди единственной комнаты появился мой отец. Стали жить всемером. Полным многодетным семьям в деревне выделяли помощь. Им не давали ничего.

Однополые союзы в России – это норма как минимум со второй половины двадцатого века. Обе части моей семьи это доказывают. Лет до двадцати называть маму и бабушку «родителями» у меня язык не поворачивался, а потом я поняла – кто же они еще? В доме, где я выросла, родителем номер один была бабушка. Она единолично принимала решения, от которых зависело благосостояние семьи. Иногда эти решения не нравились маме, но она терпела. В доме, где вырос мой отец, главой семьи была баба Тоня. Она руководила хозяйством, распорядилась всеми деньгами и решала, на что можно потратиться, а на что – нет, кому можно дать в долг денег, а кому – не стоит. Баба Нина обшивала и обстирывала и себя, и сестру, и всех пятерых детей, а потом и внуков. Украдкой одалживала деньги с пенсии знакомым, судачила с соседкой бабой Граней по вечерам на лавочке и до страсти любила конфеты «Коровка». Баба Тоня таких вольностей себе не позволяла.

«Тоня, мамá, ани́», – звала баба Нина перед смертью. Баба Тоня стала для нее и сестрой, и матерью, и надеждой, и опорой. Она пережила сестру на семнадцать лет.

* * *



Время непостижимо. Оно идет строевым шагом секунд, минут, часов и дней и не спрашивает, хочешь ли ты, чтобы оно прошло побыстрее, или мечтаешь остановить его, ненавидишь минуту, в которой живешь, или дорожишь ею больше всей прожитой жизни. Проходит все.

Еще совсем недавно – или очень давно – моя бабушка была молодой комсомолкой с шапкой коротких кудрявых волос, к которым так хотелось прикоснуться. За эти кудри мой дед избил шофера сахарного завода, который тоже положил на бабуш-

ку глаз. Развилась и поседели кудри, сгорбилась спина, отнимаются ноги. Давно умер дед, про шофера бабушка и не помнит уже, да и был ли он? Была ли молодость? Была ли жизнь?

Мама и тетка – два случайных ребенка случайного в общем-то брака. Две воплотившиеся души из двенадцати вероятностей: до них и после бабушка сделала десять кустарных аборт (мы узнали об этом случайно).

«Ты никогда не думала, почему вы двое родились, а остальные – нет? Кто и по какому принципу вас выбрал?» – спросила я у тетки.

«Не думала. Зачем?» – ответила она.

А я думаю постоянно. Думаю еще, почему бабушкина старшая дочь – ревнивая, злопамятная и сильная, как ломовая лошадь, – стала моей матерью. Думаю, что сломало ее тогда, пятнадцать лет назад? Неужели – я?

«Зато ты случайной точно не была. Два года тебя ждали», – с какой-то даже завистью сказала тетка. Ждали.

«Как-то мама с отцом в гости позвали коллегу-инженера с сыном. Ровесники они были с твоей матерью. Вроде как познакомиться их хотели. А мама твоя уже с отцом встречалась, только он еще у себя в Удмуртии жил, а она – дома. И парень вроде симпатичный был, только что-то Любе не приглянулся. Взбрыкнула она (умеет ведь, ты знаешь), встала из-за стола и ушла на улицу. “Все равно мой Лешка лучше!” – сказала мне потом».

Прошло все. Мама стала другим человеком, которого я совсем не знаю, отец пропал без вести, и узнать его у меня вряд ли уже появится шанс. Мне тридцать лет. Я смотрю на себя в зеркало и вижу то его, то ее попеременно. Глаза и брови – его, взгляд и морщинка между бровями – ее. А я – где? Какой меня видит мой сын? Кем я буду для него через пятнадцать, через двадцать пять лет? Буду ли я для себя – собой?

Вещи – самые простые – гораздо постояннее людей. Например, забор, который стоит напротив нашего старого дома в М. Лет ему больше, чем мне. Намного больше. Наверное, он еще помнит маму маленькой.

Простой глухой деревянный забор. Когда-то крашенный зеленым, потом – желтым, а теперь просто облезший. Его построил дед Юнус, когда был молод и горяч. У него была жена баба Марьям и четверо детей. Всех пятерых дед Юнус бил за безалаберность, а потом шел и аккуратно навешивал на гвоздики в своем гараже кусочки алюминиевой и медной проволоки, которые находил по двору:

пригодятся в хозяйстве. В молодости дед Юнус был электриком.

Теперь он ослеп, оглох и сошел с ума. Он ходит по улице и клянет свою жену бабу Марьям, которая лет десять как умерла, и своих детей, которые сами уже состарились. Дети отключили в его доме газ, чтобы Юнус не наделал пожара, и привозят ему на неделю большую кастрюлю татарского супа-лапши, который он изо дня в день хлебает холодным прямо из кастрюли и на чем свет стоит ругает детей за то, что держат его впроголодь.

А забор, что Юнус поставил полвека назад, все стоит, только посерел и чуть подгнил. И кусочки проволоки в его сарае все висят на заржавевших гвоздях и будут висеть там, пока новый хозяин дома властной рукой не сметет их в мусор вместе с последними воспоминаниями о сумасшедшем старике, который всю жизнь их собирал.

В кладовке в доме бабы Тони до сих пор стоит моя коляска. Нигде во Вселенной уже нет меня маленькой, а она – есть. На чердаке в доме моего детства все еще лежат остатки маминого «приданого»: две мягкие табуретки от кухонного уголка, наборы столовых приборов в пыльных и потрескавшихся пластиковых футлярах, пожелтевшие от времени вязаные салфетки. Нет уже ни маминой молодости, ни надежды на «бравого парня», который будет долго ею любоваться, а потом заберет с собой. А вещи – есть. Целый чердак так никогда и не пригодившегося приданого.

По нашим вещам будущие люди узнают, как мы жили. По нашим книгам поймут, что мучило нас все то же, что мучает их самих.

